

Василь Быков

Журавлиный крик

1

Это был обычный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным магистралям страны.

Он выбрал себе довольно подходящее место, на краю осоковой болотистой низинки, где оканчивалась насыпь и рельсы укатанной однопутки недолго бежали вровень с землей. Грязный разъезженный проселок, что сползал с пологого пустого пригорка, пересекал здесь железную дорогу и, обогнув край картофельного поля, сворачивал в сторону леса.

Переезд был старый, некогда заботливо ухоженный, с полосатыми столбиками и такими же полосатыми шлагбаумами по сторонам старенькой, оштукатуренной будки-сторожки, в которой возле жарко натопленной углем печки дремал какой-нибудь ворчливый караульщик-старик. Как издавна заведено на всех переездах, он скучающе поглядывал в окно на нечастых здесь путников и оживлялся лишь перед приходом поезда, когда спешил опустить черно-белые дышла шлагбаумов.

Теперь же дорога в оба конца лежала пустая, никого не было и на грязном разбитом проселке, поодаль валялся втоптаный в грязь шлагбаум; а в будке-сторожке самовластно хозяйничал напористый осенний ветер, нудно поскрипывавший распахнутой настежь дверью. Казалось, никому уже не было дела до этого заброшенного переезда, этого унылого поля и этих неизвестно где начинавшихся и неведь куда уходящих дорог.

Но дело нашлось, постепенно прояснялось в сознании всех шестерых, уныло стоявших на ветру с поднятыми воротниками шинелей и слушавших комбата. Тот ставил им новую боевую задачу.

— Дорогу перекрыть на сутки, — простуженным голосом говорил капитан, высокий костлявый человек с усталым лицом. Ветер зло хлестал полой плащ-палатки по его грязным сапогам, рвал на груди длинные тесемки завязок. — Завтра к вечеру отойдете за лес. А день — держаться...

Перед ними в осеннем поле высился косогор с дорогой, на которую сыпали пожелтелую листву две большие коренастые березы, и где-то на горизонте заходило невидимое солнце. Узенькая полоска света, пробившись сквозь тучи, подобно лезвию бритвы, тускло блестела в небе.

— А с шанцевым инструментом как? — прокуренным басом спросил старшина Карпенко,

командир этой небольшой группы. — Лопаты нужны.

— Лопаты? — задумчиво переспросил комбат, всматриваясь в блестящую полосу заката. — Поищите сами. Нет лопат, И людей нет, не проси, Карпенко, сам знаешь...

— Да, и людей не мешало бы, — подхватил старшина. — А то что пятеро? И то вон один новенький, а другой шибко «ученый» — тоже вояки! — зло ворчал он, стоя вполоборота к комбату.

— Противотанковые гранаты, патроны к пэтээру, сколько можно было, вам дали, а людей нет, — устало говорил комбат. Он все еще всматривался в даль, не сводя глаз с заката, а потом, вдруг встрепенувшись, повернулся к Карпенко — коренастому человеку с тяжелым малоподвижным взглядом. — Ну, желаю удачи.

Капитан подал руку, и старшина, уже весь во власти новых забот, равнодушно пожал ее. Также сдержанно пожал холодную руку комбата и «ученый» — высокий, сутулый боец Фишер; без обиды, открыто взглянул на командира новичок, на которого жаловался старшина, — молодой, с наивными глазами, рядовой Глечик. «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест», — беспечно пошутил пэтээровец Свист — белобрысый, в расстегнутой шинели, шустрый с виду боец. С чувством

сдержанного достоинства подал свою пухлую ладонь неповоротливый, мордастый Пшеничный. Почтительно, пристукнув грязными каблуками, попрощался чернявый красавец Овсеев. Поддав плечом автомат, командира батальона тяжело вздохнул и, скользя по грязи, пустился догонять колонну.

Озабоченные выпавшей на их долю новой задачей, шестеро какое-то время молча смотрели вслед капитану, батальону, коротенькая, совсем не батальонная колонна которого, мерно покачиваясь в вечерней мгле, медленно удалялась к лесу.

Впереди всех молча стоял злой и недовольный старшина Карпенко. Какая-то еще не совсем осознанная тревога все настойчивее овладевала им. Усилием воли Карпенко, однако, подавил ее и обернулся к маленькой группе притомившихся, озябших на ветру и примолкших бойцов.

— Ну, чего стоите? Геть за работу! У кого есть лопатки, копать. Пока светло...

Привычным рывком он вскинул на плечо тяжелый ручной пулемет и, с хрустом ломая придорожные стебли бурьяна, пошел вдоль канавы. Остальные нехотя потянулись за своим командиром.

— Ну вот, отсюда и начнем, — сказал Карпенко, опускаясь на колено у канавы и выглядывая поверх железной дороги. — Давай,

Пшеничный, фланговым будешь. Лопатка есть? Начинай.

Коренастый, крепко сбитый Пшеничный развалисто вышел вперед, снял из-за спины винтовку, положил в бурьян и стал вытаскивать засунутую за пояс саперную лопатку. Отмерив от него шагов десять вдоль по канаве, Карпенко снова присел и оглянулся, ища глазами, кого назначить на новое место. С его грубоватого лица не сходили озабоченность и злое неудовлетворение теми случайными людьми, которых выделили для выполнения этой далеко не легкой задачи.

— Ну, кому тут? Фишеру, что ли? Хотя у него же и лопатки нет. Тоже вояка! — озлился старшина, поднимаясь с колена. — Сколько на фронте, а лопатки еще не достал. Ждет, наверно, когда старшина даст? Или немец в подарок пришлет?

Фишер, заметно задетый длинным упреком, не оправдывался и не возражал, только неуклюже горбился и без нужды поправлял на носу очки в черной металлической оправе.

— В конце концов, чем хотите, а копайте! — бросил Карпенко, глядя, как это он всегда делал, когда выговаривал, куда-то вниз и в сторону. — Мое дело маленькое. Но чтобы позицию оборудовал.

Он направился дальше, сильный и уверенный в словах и движениях, словно был не командиром

взвода, а, по меньшей мере, командиром полка. За ним покорно поплелись Свист и Овсеев. Оглянувшись на Фишера, Свист сдвинул на правую бровь пилотку и, показав в улыбке белые зубы, съязвил:

— Задача профессору, ярина зеленая! Попотеет, ха!

— Не болтай, — живо оборвал старшина. — Марш вон к белому столбику на линии и копай.

Свист свернул в картофляник, еще раз с улыбкой оглянулся на Фишера, который неподвижно стоял у своей позиции и озабоченно тербил небритый подбородок.

Карпенко с Овсеевым подошли к сторожке. Старшина, ступив на порог, потрогал перекошенную скрипучую дверь и по-хозяйски оглядел помещение. Из выбитого окна дул сквозной ветер, на стене болтались обрывки порыжелого плаката, некогда призывавшего разводить пчел. Пол был засыпан кусками штукатурки, комьями грязи, соломенной трухой. Воняло сажей, пылью и еще чем-то нежилым и противным.

— Кабы стены потолще, было бы укрытие, — несколько другим тоном, рассудительно сказал Карпенко. Овсеев протянул руку, пощупал отбитый бок печки.

— Что, думаешь, теплая? — сдержанно усмехнулся старшина.

— А давайте протопим. Раз не хватает инструмента, можно по очереди копать и греться, — оживился боец. — А, старшина?

— Ты что, к теще на блины прибыл? Греться! Подожди, вот придет утро — он тебя согреет. Жарко станет.

— Ну что ж... А пока какой смысл мерзнуть? Затопим печку, окна завесим... Как в раю будет, — настаивал Овсеев, поблескивая черными цыганскими глазами.

— Хватит болтать. Становись вон за Свистом и окапывайся.

Выйдя из будки, Карпенко столкнулся с Глечиком, который тащил откуда-то согнутый железный прут.

— Вот ковырять вместо лома. А выбрасывать и пригоршнями можно, — сконфуженно улыбнулся Глечик.

Старшина придирчиво взглянул на него, но, не найдя, чем упрекнуть, сказал просто:

— Так. Давай вот здесь — по эту сторону сторожки, а я — по ту, в центре. И не тяни. Пока светло, чтоб окопался.

2

Вечерело. Из-за леса ползли сизые, набрякшие влагой тучи. Они тяжело и плотно обложили небо и

совершенно стерли блестящую полосу над косогором. Стало сумрачно и холодно. Ветер с осенней яростью теребил березы у дороги, выметал канавы, гнал через железнодорожную линию шуршащие стайки листвы. Мутная вода, выплескиваясь из луж от сильных порывов ветра, кропила обочину студенными грязными брызгами.

Бойцы на переезде дружно взялись за дело: копали, вгрызались в затвердевшую залежь земли. Не прошло и часа, как Пшеничный чуть не по самые плечи зарылся в серую кучу глины. Далеко вокруг отбрасывая рассыпчатые комья, легко и весело оборудовал свою позицию Свист. Он снял с себя все ремни и шинель и, оставшись в гимнастерке, ловко орудовал маленькой пехотинской лопаткой. В двадцати шагах от него, тоже над линией, время от времени останавливаясь, отдыхая и оглядываясь на друзей, с несколько меньшим старанием окапывался Овсеев. У самой будки со знанием дела оборудовал пулеметную позицию Карпенко; по другую сторону от него старательно долбил землю покрасневшийся, потный Глечик. Взрыхлив прутом грунт, он руками выбрасывал комья и снова долбил. Один только Фишер тоскливо сидел в бурьяне, где оставил его старшина, и озябшими руками листал какую-то книжку.

За этим занятием и увидел его Карпенко,

когда, приостановив работу, вышел из-за сторожки. Озабоченного старшину передернуло. Выругавшись, он набросил на потную спину залубенелую от грязи шинель и вдоль канавы направился к Фишеру.

— Ну что? Долго так будете сидеть? Может, думаете, если нечем копать, так я вас в батальон отправлю? В безопасное место?

С виду безразличный ко всему, Фишер вскинул голову, его близорукие глаза под стеклами очков растерянно заморгали, затем он неловко поднялся и, заикаясь от волнения, быстро заговорил:

— М-м-можете не беспокоиться, это исключено. Я н-н-не меньше вас понн-н-нимаю свои обязанности и сделаю все без лишних эксцессов. В-в-вот...

Слегка удивленный неожиданным выпадом этого тихого человека, старшина не сразу нашелся, что ответить, и передразнил:

— Ишь ты: эсцексов!

Они встали так друг против друга: взволнованный, с дрожащими руками, узкоплечий боец и властный, полный уверенности в своей правоте командир. Нахмутив колючие брови, старшина с минуту раздумывал, как поступить с этим неумекой, а потом, вспомнив, что на ночь надобно выставить дозор, сказал спокойнее:

— Вот что: берите винтовку и — за мной.

Фишер не спросил, куда и зачем, с подчеркнутым безразличием сунул за пазуху книжку, вскинул на плечо винтовку с примкнутым штыком и, спотыкаясь, побрел за старшиной. Карпенко, на ходу надевая шинель, осматривал, как окапывались остальные. Проходя возле своей ячейки, он коротко бросил Фишеру:

— Возьми лопатку.

Они вышли на переезд и по заслуженной сотнями ног грязной дороге направились на пригорок с двумя березами.

Сумерки быстро сгущались. Небо совсем потемнело от туч, сплошной массой обложивших его. Ветер, не стихая, зло рвал полы шинелей, забирался за воротники, в рукава, выжимал из глаз студёные слезы.

Карпенко шагал быстро, не особенно выбирая дорогу и уж совсем не жалея своих новых кирзовых сапог. Фишер, подняв ворот шинели и натянув на уши пилотку, тащился за ним. К бойцу снова вернулось обычное для него безразличие, и он, скользя взглядом по загустевшей дорожной грязи, старался не шевелить забинтованной в чирьях, шеей.

Ветер ворошил в канавах листву, вокруг неуютно раскинулось пустое осеннее поле.

На середине косогора Карпенко остановился,

чтобы издали взглянуть на позицию взвода, и тут обнаружил, что его подчиненный отстал. Еле-еле переставляя ноги, тот снова уткнулся на ходу в свою книгу. Старшине был непонятен подобный интерес к книгам, и он, удивленный и рассерженный, подождал, пока боец догонит его. Но Фишер был так поглощен чтением, что, казалось, не замечал старшину, позабыл, вероятно, куда и зачем шел, только перебирал страницы и что-то тихо шептал про себя. Старшина нахмурился, но не прикрикнул, только, нетерпеливо переступая на месте, строго спросил:

— Что за библия?

Фишер, видно еще не забывший недавней их ссоры, сдержанно блеснул стеклами очков и отвернул темную обложку.

— Биография Челлини.

Карпенко заглянул в книгу, там на развороте страниц был вклеен снимок обнаженного, взлохмаченного человека, который, глядя куда-то в сторону, недовольно хмурил белые брови.

— Давид! — между тем объявил Фишер. — Узнаете?

Но Карпенко ничего не узнавал. Он еще заглянул в книжку, окинул недоверчивым взглядом Фишера. Нужно было спешить, чтобы засветло выбрать место для ночного дозора, и старшина торопливо зашагал дальше. А Фишер озабоченно

вздыхнул, расстегнул противогазную сумку и бережно положил туда книгу рядом с куском хлеба, старым «Огоньком» и патронами. Затем, уже не отставая, шел за старшиной.

— Вы что, взаправду ученый? — почему-то насторожившись, спросил Карпенко.

— Ну, ученый — это, может, чересчур громко. Кандидат искусствоведения, всего только.

Карпенко немного помолчал, стараясь понять что-то, а потом сдержанно, словно боясь обнаружить свою заинтересованность, спросил:

— Это что? По картинам спец или как?

— Да, по картинам. Но, главным образом, по скульптуре эпохи Возрождения. В частности, специализировался по итальянской скульптуре.

Они поднялись на пригорок, с которого открылись новые, уже затянутые вечерней мглой дали — поле, ложбина, покрытая кустарником, далекий ельник, возле него за дорогой — соломенные крыши деревни. Рядом, у канавы, качая на ветру тонкими ветвями, шелестели порыжелой листвой березы. Они были толстые и, видно, очень старые, эти извечные сторожа дорог, с потрескавшейся, почерневшей корой, густо усыпанные шишками наростов; у одной, забитый в комель, торчал железнодорожный костыль. Возле берез старшина перепрыгнул канаву и, зашуршав по стерне сапогами, направился в поле.

— А он что, этот голый, из гипса вылеплен или как? — спросил он, сделав явную уступку невольной своей заинтересованности.

Фишер сдержанно, одними губами снисходительно улыбнулся, словно ребенку, и пояснил:

— Нет, не из гипса. Эта пятиметровая фигура Давида высечена из цельного куска мрамора. Гипс для монументальной скульптуры в древности и во времена Ренессанса применялся сравнительно редко. Это уже атрибут нового времени.

Старшина снова спросил:

— Из мрамора, говоришь? А чем же он такую глыбу высек? Машиной какой, что ли?

— Ну что вы? — удивился Фишер, шагая рядом с Карпенко. — Какой машиной? Безусловно, руками.

— Ого! Наверно, целый месяц долбил? — в свою очередь удивился старшина.

— Два года всего. Вообще в искусстве это еще небольшой срок, — помолчав, добавил Фишер. — Александр Иванов, например, работал над своим «Мессией» почти двадцать два года, Энгр писал «Родник» сорок лет.

— Смотри-ка! Вот это работенка! А он кто, этот, что сделал Давыда?

— Давида, — деликатно поправил Фишер. — Великий Микеланджело Буонарроти. Итальянец,

уроженец Флоренции.

— Что — муссолинец?

— Да нет же. Он жил давно. Знаменитый художник Возрождения.

Они помолчали. Фишер уже держался рядом, и Карпенко искоса раза два взглянул на него. Худой, со впалой грудью, в короткой, подпоясанной под хлястик шинели, с забинтованной шеей и заросшим черной щетиной лицом боец выглядел весьма неприглядно. Одни лишь черные глаза под толстыми стеклами очков жили отражением далекой сдержанной мысли. Старшина подумал про себя, что вот ведь абсолютный неумеха на войне, тем не менее за его таким неказистым видом скрывается, кажется, в общем неглупый и даже образованный человек. Правда, Карпенко был уверен, что в военном деле Фишер немногого стоит, но в глубине души он уже почувствовал нечто похожее на невольное уважение к этому бойцу.

Шагах в ста от дороги Карпенко остановился на стерне, посмотрел в сторону деревни, оглянулся назад. Переезд в ложбине едва уже серел в вечернем сумраке, но был еще виден, и старшина подумал, что место для дозора тут будет подходящее. Он притопнул каблуком по мягкой земле и, переходя на обычный свой командирский тон, приказал:

— Вот тут и копай. Ночью спать — ни-ни. Смотри в оба и слушай. Пойдут — поднимай шум и — на переезд.

Фишер снял с плеча винтовку и, взявшись обеими руками за короткую ручку лопатки, неумело ковырнул стерню.

— Ну кто так копает! — не выдержал старшина. — Дай сюда.

Он выхватил у бойца лопатку и, легко врезая ее в рыхлую землю пашни, ловко растрассировал очертания одиночной ячейки.

— Вот на... Так и копай. Ты что, кадровой не служил?

— Нет, — со вздохом признался Фишер. — Не довелось.

— Оно и видно. А теперь вот намаешься с вами, этими...

Он хотел сказать «учеными», но смолчал, не желая вкладывать в это слово своего прежнего язвительного смысла.

Пока Фишер ковырялся в земле, Карпенко присел на стерне и, защищаясь от ветра, стал сворачивать сигарку. Ветер выдувал из бумажки махорочную труху, старшина бережно придерживал ее пальцами и торопливо завертывал. Сумерки тем временем все плотнее окутывали землю, на глазах затягивался тьмой переезд со сторожкой и сломанным шлагбаумом, растворялись

в ночи далекие крыши деревни, сильнее и тревожнее шумели у дороги березы.

Закрывая от ветра трофейную зажигалку, старшина сгорбился, стараясь прикурить, но вдруг лицо его дрогнуло и перекошилось. Вытянув жилистую шею, он уставился на переезд. Фишер тоже почувствовал что-то и как стоял на коленях, так и замер в напряженной позе ожидания. На востоке, за лесом, донесенная ветром, слаженно раскатилась густая пулеметная очередь. Вскоре на нее отозвалась вторая, пореже, видно, из нашего «максима». Затем слабым далеким отсветом, прорвав вечернюю мглу, загорелась и потухла мерцающая россыпь ракет.

— Обошли! — с досадой зло бросил старшина и выругался. Он вскочил, всматриваясь в далекий потемневший горизонт, и со злостью, отчаянием и тревогой повторил: — Обошли, гады!

И, охваченный новой заботой, не разбирая дороги, побежал на переезд.

3

На переезде первым услышал стрельбу Пшеничный. Еще засветло он вырыл глубокий, в полный рост, окоп, сделал на дне ступеньку, с которой можно было стрелять и выглядывать, а затем — ямку, чтобы в случае необходимости

быстрее выскочить наверх. Потом старательно замаскировал ломким бурьяном бруствер и отдал лопатку Глечикю, который все еще ковырял землю железным прутком. Выполнив таким образом приказ старшины, он уселся на дне своего нового укрытия.

Тут было тихо и относительно уютно. Брошенная на дно охапка бурьяна защищала от зябкой сырости. Пшеничный заботливо укрыл им ноги в стоптанных грязных ботинках, вытер о полу шинели руки и развязал вещевой мешок. Там боец приберегал краюху добытого в какой-то деревне крестьянского хлеба и добрый кусок сала. Он давно уже проголодался, но на людях все не отваживался есть, потому что тогда надо было бы поделиться, а делиться Пшеничный ни с кем не хотел. Он знал, что из съестного, кроме какого-нибудь куса черного хлеба, ничего ни у кого не было. Но не его это забота, пусть каждый старается сам для себя, а на то, чтобы беспокоиться обо всех, есть начальство, хотя бы тот же Карпенко. И теперь, сидя в только что вырытом окопе, где никто его не мог видеть, Пшеничный разложил на коленях завернутое в бумажку сало, достал из кармана складной, на медной цепочке, ножик и, разделив кусок пополам, порезал одну его половину на тонкие ломтики. Остальное опять завернул в клочок газеты и спрятал на дно набитого всякой всячиной вещевого мешка.

Пшеничный аппетитно жевал своими не очень здоровыми, попорченными уже болезнью и временем зубами и думал, что нужно бы еще притащить бурьяна, зарыться в него и «покимарить», как говорит Свист, часок-другой ночью. Правда, взводный попался придирчивый и настырный, этот придумает еще что-нибудь до утра, но Пшеничный — не Глечик и не подслеповатый Фишер, чтобы покорно исполнять все, что прикажут. Во всяком случае, он сделает не больше, чем для отвода глаз, и уж себя не обидит.

Тихое течение этих праздных, медлительных мыслей было прервано далекими пулеметными выстрелами. Пшеничный с набитым ртом от неожиданности притих, прислушался, потом, сунув в карман остатки еды, вскочил. Над лесом взвилась в небо рассыпчатая гроздь ракет, осветила на миг черные вершины деревьев и погасла.

— Эй! — закричал Пшеничный товарищам. — Слышали? Окружают!..

Уже совсем стало темно. Поодаль белыми стенами выделялась сторожка, вырисовывался в небе сломанный остов шлагбаума; слышно было, как рядом, в окопе, копошится старательный Глечик и у железной дороги долбит землю Свист.

— Оглохли, что ли? Слышите? Немцы в тылу!

Глечик услышал, выпрямился в своей еще не глубокой яме. Выскочил из окопа Овсеев и,

прислушавшись, через картофельное поле торопливо подался к Пшеничному. Где-то в темноте замысловато ругался Свист.

— Ну что?! — кричал из окопа Пшеничный. — Докопались! Я же говорил! Надеялись на тыл, а там уже немцы.

Овсеев, стоя рядом и вслушиваясь в звуки далекого боя, уныло молчал. Вскоре из темноты вынырнул Свист, подошел и остановился сзади настороженный Глечик.

А там, далеко за лесом, громыхал ночной бой. К первым пулеметам присоединились другие. Очереди их слились в далекий, приглушенный расстоянием треск. Беспорядочно и неторопливо щелкали винтовочные выстрелы. В черное поднебесье еще взлетела ракета, потом — вторая и две вместе. Догорая, они исчезали за мрачными вершинами деревьев, а на низком, обложенном тучами небе еще какое-то время мигали их неяркие пугливые отсветы.

— Ну? — не унимался Пшеничный, обращаясь к настороженным, примолкшим людям. — Ну?..

— Что ты нукаешь? Что нукаешь, Мурло? Запряг, что ли? — зло закричал Свист. — Где старшина?

— Фишера в секрет повел, — сказал Овсеев.

— А то нукаю, что окружили. Окружили ведь,

вот и ну, — не сбавляя тона, горячился Пшеничный.

Ему никто не ответил, все стояли и слушали, охваченные тревожным предчувствием беды. А в далекой ночной тьме все рассыпались очереди, рвались гранаты, ветром разносилось вокруг негромкое эхо. Людей охватила лихорадочная тревога, сами собой опустились натруженные за день руки, тревожно засуетились недобрые мысли.

В унылом молчании и застал их старшина; запыхавшись от быстрого бега, он внезапно появился у сторожки и, конечно, сразу понял, что согнало людей к этой крайней ячейке. Зная, что в подобных случаях самое лучшее без лишних слов проявить строгость и власть, старшина еще издали, не объясняя и не успокаивая, закричал с напускной злостью:

— Ну, чего встали как столбы на обочине? Чего испугались? А? Подумаешь, стреляют! Вы что, стрельбы не слышали? Ну что, Глечик?

Глечик растерянно пожал плечами:

— Да вот окружают, товарищ старшина.

— Кто сказал: окружают? — разозлился Карпенко. — Кто?

— Что окружают — факт, не булка с маком, — ворчливо подтвердил Пшеничный.

— Молчи! Подумаешь, окружают! Сколько уже окружали? В Тодоровке — раз, в Боровиках —

два, да под Смоленском! И что?

— Тогда с полком были. А тут что? Шестеро, — отозвался из тьмы Овсеев.

— Шестеро! — передразнил Карпенко. — А эти шестеро что, бабы или бойцы Красной Армии? Нас вон в финскую на острове трое осталось, два дня отбивались, от пулеметов снег до мха растаял, и ничего — живы. А то — шестеро!

— Так то в финскую...

— А то в немецкую. Одна холера, — спокойней сказал Карпенко, отрывая от газеты клочок на сигарку.

Пока он ее сворачивал, все молчали, побаиваясь вслух высказывать свои опасения и чутко вслушиваясь в звуки ночного боя. А там, кажется, постепенно становилось тише, ракеты больше не взлетали, стрельба заметно затихала.

— Вот что, — произнес старшина, поспеив сигарку, — нечего митинговать. Давай копать круговую. Ячейки соединим траншеей.

— Слушай, командир, а может, лучше отойдем, пока не поздно? А? — сказал Овсеев, застегивая шинель и позвякивая пряжкой ремня.

Старшина пренебрежительно хмыкнул, давая понять, что его удивляет подобное предложение, и, отчеканивая каждое слово, спросил:

— Приказ ты слышал — закрыть дорогу на сутки? Вот и исполняй, нечего болтать. Все

напряженно молчали.

— Ну, довольно. Давай копать, — уже примирительнее сказал командир. — Окопаемся и завтра как у Христа за пазухой будем.

— Как у Мурла в сидоре, — пошутил Свист. — И сухо, и тепло, и хозяин уважает. Ха-ха! Пошли, Барчук, работа не стоит, ярина зеленая, — дернул он за рукав Овсеева, и тот нехотя подался за ним в ночную тьму. Глечик тоже вернулся на свое место, а старшина некоторое время постоял молча, затянулся махорочным дымом и вполголоса, чтоб не слышали другие, зло сказал Пшеничному:

— Ты у меня покаркаешь, Я с тебя шкуру спущу за твои штучки. Попомнишь...

— Какие штучки?

— Такие, — слышалось из темноты. — Сам знаешь.

4

Обозленный на старшину за угрозу и взвинченный близкой опасностью, Пшеничный какое-то время стоял неподвижно, разбираясь в обуревавших его чувствах, а потом, почти мгновенно приняв решение, бросил в ночную тьму:

— Хватит!

Да, хватит. Хватит месить грязь по этим разбитым дорогам, хватит стучать зубами от стужи,

голодать, хватит дрожать от страха, копать-перекапывать землю, глохнуть в боях, где только кровь, раны и смерть. Давно уже Пшеничный присматривался, ждал подходящего момента, взвешивал все «за» и «против», но теперь, попав в эту мышеловку, наконец-то решился. «Своя рубашка ближе к телу, — рассуждал он, — а жизнь для человека дороже всего, и сохранить ее можно, только бросив оружие и сдавшись в плен. Авось не убьют, ерунда все эти сказки о немцах. Немцы ведь тоже люди...»

Ветер шумел в ушах, остужал лицо. Стараясь укрыться от него и отдаться разбуженным, но еще не додуманным до конца мыслям, Пшеничный снова опустился в окоп. Траншею копать он не стал, пусть это делает Глечик, а он уже отработал свое. Ему тут никого не было жаль. Старшина зубастый и въедливый, как фельдфебель; Витька Свист — блатняга и брехун — все Мурло да Мурло. Правда, он и остальных, кроме разве Карпенко, тоже наделил кличками: Овсеев у него Барчук, Фишер — Ученый, Глечик — Салага. Но те все молодые, а он, Пшеничный, раза в полтора старше каждого. Только Карпенко его возраста. Овсеев, тот и в самом деле барчук, избалованный с детства белоручка, способный в учебе, но лентяй в труде; Глечик еще пацан, послушный, но совсем не обстрелянный, боязливый подросток, того и гляди,

струсит в бою; Фишер — подслеповатый книжный червяк, из винтовки выстрелить не умеет, зажмуривает глаза, когда нажимает спуск, — вот и войой с такими. С ними разве осилишь тех, сильных, обученных, вооруженных до зубов автоматами да пулеметами, которые стреляют, будто швейные машинки строчат...

В тиши окопа слышно, как неподалеку долбит землю Глечик, изредка поскрипывает от ветра дверь сторожки и шумит-высвистывает свою осеннюю песню высохший бурьян в канаве. Стала донимать стужа. Пшеничный достал из кармана остатки сала, съел, а потом съежился и, сомкнув руки, притих — отдался течению мыслей, заново переживая все свои беды.

Нескладно и горько сложилась его жизнь.

Первые впечатления от обиды цепко и долго держатся в человеческой памяти. Иван теперь живо помнит то трудное голодное лето, когда бабы из соседней деревни Ольховки с пасхи бродили по межам, собирали щавель, крапиву; пухли с голоду дети и старики; черные и молчаливые от горя, всю весну ходили через хутор в поле Ольховские мужики. Люди ели траву, толкли древесную кору, терли полову, рады были горсти просеянных отходов, чтобы подмешать в травянистую, противную пищу, склеить «травяники». У них на хуторе тоже было не густо, но травы они все же не

ели — доились две коровы, и в клетки в закромах кое-что еще имелось. Тем летом судьба свела тринадцатилетнего Ивана с деревенским парнем Яшкой. И наверно оттого, что в свое время он не сумел сделать выбора между ним и отцом, столько несчастий постигло Пшеничного в жизни.

Однажды на какой-то праздник — Петра или троицу — в душный летний вечер, когда опустившееся к горизонту солнце заметно растратило уже свой дневной жар, тринадцатилетний Иванка возвращался на хутор. Незадолго перед тем родители приехали с базара, и он отвел в кустарник коня, где спутал его и пустил пастись. Уже подходя к высоким массивным воротам своей усадьбы, услышал разговор во дворе — чей-то жалобный женский голос и частое недовольное покашливание отца. Отец в новой праздничной рубаше и жилетке сидел на ступеньках крыльца и посапывал трубкой, а рядом, сгорбившись, закрыв лицо низко повязанным платком, стояла вдова Мирониха — их дальняя по матери родственница, она плакала и чего-то просила.

В ту минуту, когда Иван входил во двор, как раз наступила пауза. Женщина с надеждой и страхом уставилась на отца, прикрыв рот уголком платка, а отец зло, как сразу заметил Иван, пускал клубы дыма и молчал.

«Ладно, — наконец подал он голос. — Пусть придет. Дам пудик. А завтра на зорьке чтоб тут был. Косы не нужно, косу мою возьмет».

Женщина перестала плакать, высморкалась, начала кланяться и благодарить, а отец молча поднялся и пошел в дом.

На рассвете следующего дня мать, как всегда, ласково разбудила Иванку на сеновале, подала завязанный в рушник завтрак — кусок ветчины и краюху хлеба. Он всегда в такое время носил отцу в поле еду, но на этот раз еды было вдвое больше. Иванка догадался: это помощнику. Работников они нанимали и раньше — в косьбу, жатву, молотьбу, но держали недолго: отец был требовательный, очень въедливый, жадный к работе, и мало кто мог угодить ему.

Выйдя из ольшаника, Иван увидел наполовину скошенный лужок, а в конце его — отца и Яшку Тереха. Но, видно, что-то там стряслось, потому что они не косили, а стояли друг против друга. Отец одной рукой держал сломанную у шейки косу, другой — косовище и зло смотрел на Яшку. Батрак, одетый в нательную рубашку, с закатанными до колен штанами, почесывал худую грудь и виновато оправдывался:

— Дяденька Супрон, ей-богу, нечаянно. Замахнулся, а тут камень — и отлетела.

— Лодырь проклятый! Гультай чертов! —

кричал отец, трясая густой слежалой бородой. — Таковую косу сломал! Небось чужое? А? Кабы свое, иначе б смотрел, босота! Ых ты!..

Он бросил косу, обеими руками схватил косовище, замахнулся и, все больше зверея, стал им бить парня по плечам, голове, рукам, поднятым, чтоб заслониться.

Иван почувствовал, как задрожал от страха, а больше от нахлынувшего вдруг негодования. Он хотел закричать на отца: мальчику жаль было тихого, беззащитного Яшку, любителя рыбной ловли, удивительного знатока всех окрестных лесных тайн. Но Иван не закричал, а потихоньку шел к ним, с трудом переставляя ноги. Лучше бы бежать куда глаза глядят, чем видеть и слышать все это.

За сломанную косу Яшка отработывал лишнюю неделю — стоговал, сушил, возил сено, затем еще помогал в жатву. Иван к нему относился доброжелательно. После того случая на лугу он чувствовал себя очень неловко: угнетала неосознанная еще вина перед парнем и какая-то глубокая, не совсем понятная обида. Впрочем, вскоре они подружились, ходили вместе купаться, возили сено, расставляли на кротов капканы и никогда не говорили про отца. Иван знал, что Яшка ненавидит хозяина. Эта его неприязнь незаметно передалась и молодому Пшеничному. Он

чувствовал, что отец скупой, злой, несправедливый, и это невольно угнетало его.

Минуло несколько лет. Иван втянулся в крестьянскую работу и, вопреки себе, во всем шел за отцом, который безжалостно школил сына в несложной земледельческой науке, постигнутой на суровом собственном опыте. Яшка вскоре пошел на службу в Красную Армию, отслужил там два года и вернулся в деревню совсем другим — повзрослевшим и как-то вдруг поумневшим. Через некоторое время он стал заводилой всех молодежных дел в деревне, начав свою общественную деятельность с кружка воинствующих безбожников.

Иван сторонился деревенских парней, в деревню ходил только по праздникам, на вечеринки, а вообще жил отчужденно — своим хутором, хозяйством, под каждодневным отцовским надзором и понуканием. Но взаимная привязанность молодого Пшеничного и бывшего батрака Яшки, видно, сохранилась в сердцах обоих, и вот однажды поздней осенью, встретившись на деревенском выгоне, Яков пригласил его прийти вечером посмотреть репетицию «безбожницкой» пьесы. Иван, не подумав тогда, как к этому отнесется отец, согласился. Вечером смазал дегтем юфтевые сапоги, набросил поддевку и пошел. Репетиция ему понравилась. Сам он не участвовал в

пьесе, зато посмотреть на других было интересно. Потом он зачастил в ту обветшалую, скособоченную вдовью хатку, где собиралась по вечерам деревенская молодежь, ближе сошелся с хлопцами и девчатами. Его не обижали, хотя иногда незло подшучивали, называя молодым подкулачником.

И вот об этом как-то узнал отец. Однажды утром, расходившись, он накричал на Ивана, ударил уздечкой мать, когда та заступилась за сына, и пригрозил выгнать из хаты безбожника, позорящего честь отца. Ивану было очень обидно, но давняя закоренелая привычка во всем подчиняться его воле взяла верх, и он перестал ходить к Яшке. Яков это быстро заметил. Возвращаясь как-то вместе с мельницы, они разговорились по душам. Говорил, правда, Яшка, Иван больше слушал, потому что по натуре своей был молчалив, но не согласиться с тем, что говорилось, не мог. А Яков рассказывал о классовой борьбе, о том, что старик Пшеничный — сельский мироед, что он выжал все соки из его, Ивановой, матери, как батрака, заездил самого Ивана, что он готов подавиться от жадности.

«Слушай, как ты живешь с ним? Я удрал бы от такого злыдня. Разве он батька тебе?»

Ивану было тогда не по себе. Они шли по тихой песчаной дороге за груженными возами, и

перед их глазами, уныло поскрипывая, мелькали и мелькали колеса. Иван верил Яшке и понимал, что лучше было бы порвать с отцом, пойти на свой хлеб, как-нибудь прожил бы, но на это не хватало решимости. Вот так, как следует не сомкнувшись, разошелся его путь с людьми, с теми, кто дал бы ему веру в жизнь, в собственные силы и, быть может, уберег душу от тоски одиночества.

Потом, через каких-нибудь пару лет, отца раскулачили, забрали в сельсовет все их имущество, описали постройки, а самого с матерью выслали. Иван в ту зиму жил в местечке у дяди и учился в семилетке. Дядя был неплохим человеком, как говорят, мастером на все руки. К племяннику относился, как и к своим дочерям, никогда ни в чем не упрекал его. Но по едва уловимым приметам и мелочам юноша видел, что он все же лишний, чужой в этой семье, и от этого не было Ивану радости. Учился он неплохо, понимал и любил математику и после семилетки подал документы в педагогический техникум. Он ждал экзаменов, видя в своем студенчестве единственный счастливый выход из того тупика, в который загнала его жизнь. Но на экзамены его не вызвали, документы вскоре вернули, и в холодной казенной отписке было сказано, что в техникум его принять нельзя, потому что он — сын кулака.

Это было огромным горем для молодого